

DOI: 10.31857/S241377150010952-0

**“Трудное приготовление к настоящему пути”,
или в чем смысл “обыкновенной истории”
в одноименном романе И. А. Гончарова**

© 2020 г. И. А. Беляева

Доктор филологических наук,
профессор Московского городского педагогического университета,
Россия, 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, к. 1
belyaeva-i@mail.ru

Дата поступления материала в редакцию 20 июня 2020 г.

Дата публикации: 31 августа 2020 г.

Резюме. В статье рассматриваются разные стратегии прочтения романа Гончарова “Обыкновенная история”, которые сложились в литературно-критической и исследовательской практике. С самого начала во взгляде на это сочинение доминировала “реальная философия”, которая во многом видела в нем борьбу с бытовым романтизмом и рассматривала “Обыкновенную историю” как роман социальный, об “утраченных иллюзиях”. Не менее значимой была точка зрения, культивирующая в романе Гончарова “фламандство” как приятие мира во всем его многообразии. В дальнейшем укрепились концепции, рассматривающие “Обыкновенную историю” в свете поэтики “диалогического конфликта”, оказавшегося продуктивным в эпоху “натуральной школы”, и как опыт освоения европейской модели “романа воспитания” на русской почве. Автор статьи полагает, что в “Обыкновенной истории” Гончаров ставил перед собой и другие задачи, имеющие прямое отношение к насущной проблеме религиозного кризиса, который испытывало общество на пути смены старых, патриархальных институтов новыми моделями общежития, в которых жизнь земная и блага земные оказывались более важными (причем такие модели были научно объясняемы). Как внимательный и честный художник Гончаров справедливо констатировал, что его современнику в новом социальном общежитии сложно и невозможно сохранить “младенческую веру”, без которой тем не менее человек не может оставаться человеком. Однако его роман был посвящен художественному изучению не только механизмов аннигиляции души, но и тех новых начал религиозного чувства, которые могут быть для современного человека источниками спасения. В этом плане Гончарову был интересен опыт “Божественной Комедии” Данте, в центре которой история человеческой души, оказавшейся в “темном лесу” современных пороков, казалось бы, без надежды на спасение. В статье смысл “обыкновенной истории” связывается не только и не столько с неизбежными во все времена возрастными превращениями, которые происходят с героем, или с утратой излишней романтической экзальтации, но с трансформацией человеческой души, доходящей как будто до пределов падения и надеющейся на “восстановление”.

Благодарность. Статья выполнена по гранту РФФИ № 20-012-00221.

Ключевые слова: Гончаров, “Обыкновенная история”, Данте, “Божественная Комедия”, сюжет спасения, религиозный кризис, роман.

Для цитирования: Беляева И.А. “Трудное приготовление к настоящему пути”, или в чем смысл “обыкновенной истории” в одноименном романе И.А. Гончарова // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2020. Т. 79. № 4. С. 102–115. DOI: 10.31857/S241377150010952-0.

**“A Hard Preparation for the Real Way”,
Or What is the Meaning of “A Common Story”
in the Same-Name Novel by Ivan A. Goncharov**

© 2020 Irina A. Belyaeva

Doct. Sci. (Philol.),
Professor of Moscow City University,
The 2nd Selskokhozhajstvenny Lane 4, bld. 1, Moscow, 129226, Russia
belyaeva-i@mail.ru

Received by Editor on June 20, 2020

Date of publication August 31, 2020

Abstract. The article discusses different reading strategies for Goncharov’s novel “A Common Story”, which have developed in literary critical and research practice. From the very beginning, the “real philosophy” has dominated critical studies of this work, which mainly noted a struggle against the ‘ordinary’ romanticism there and considered “A Common Story” as a social novel about ‘lost illusions’. No less significant there was the point of view celebrating ‘Flemishness’ in Goncharov’s novel as a way to accept the world in all its diversity. Later on, certain concepts took hold, according to which “A Common Story” appeared in the light of the poetics of “dialogical conflict”, which proved to be productive in the era of the “natural school”; the novel was also studied as a variant of the European Bildungsroman on the Russian soil. The author of the article believes that in “A Common Story” Goncharov pursued other tasks, which were directly related to the urgent problems of the society in religious crisis, when the ancient patriarchal institutions were being replaced by new models of social life, which gave priority to earthly values (moreover, such models were scientifically backed up). As a scrupulous artist with strong integrity, Goncharov justly stated that it had been difficult, almost impossible for his contemporaries, under new, adverse conditions, to keep the “faith of a child” alive, without which, nonetheless, no one can retain humanity. However, his novel was devoted to the artistic study not only of the mechanisms of the soul’s debasement, but also of those new blossomings of religious feeling, which might become salvation for modern man. Hence, Dante’s “The Divine Comedy” specifically drew Goncharov’s attention as the story of the human soul lost in the “dark forest” of present-day vices and, as it would seem, without any hope for salvation. In the article, the meaning of a “common story” is informed not only and not entirely by the growth and aging of the hero, neither by his loss of excessive romantic enthusiasm, but by the progress of the human soul.

Acknowledgment. This study was underwritten by a grant from the RFBR; project № 20-012-00221.

Key words: Ivan Goncharov, “A Common Story”, Dante, “The Divine Comedy”, the salvation plot, religious crisis, novel.

For citation: Belyaeva, I.A. “*Trudnoe prigotovlenie k nastoyashchemu puti*”, ili v chem smysl “obyknovennoj istorii” v odnoimennom romane I.A. Goncharova [“A Hard Preparation for the Real Way”, Or What is the Meaning of “A Common Story” in the Same-Name Novel by Ivan A. Goncharov]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2020, Vol. 79, No. 4, pp. 102–115. (In Russ.) DOI: 10.31857/S241377150010952-0.

Роман “Обыкновенная история” – литературный дебют и большой успех И.А. Гончарова, вызвавший живой отклик у современников. Критика поначалу зачислила писателя в борцы с романтизмом. Одной из центральных стратегий прочтения этого сочинения, особенно в первые годы после его публикации, стала “реальная философия” В.Г. Белинского. Критик назвал Александра Адуева в известном обзоре литературы за 1847 г. романтиком, принадлежащим по природе к характерам, которые “с избытком наделены нервическою чувствительностью, часто доходящею до болезненной раздражительности (susceptibilité)” [1, с. 332].

Подобные люди, как отмечал В.Г. Белинский, гибнут от “практической логики жизни и опыта” [1, с. 341]. Он явно отдавал предпочтение дядюшке Александра — Петру Ивановичу Адуеву, чья жизнь выстроена по “непреложным правилам”, которые “сообразуются <...> с здравым смыслом” [1, с. 342]. Как известно, разочаровал В.Г. Белинского только финал “Обыкновенной истории” — именно потому, что с романтиками, каким он считал Александра, не могут произойти подобные метаморфозы: “Такие романтики никогда не делаются положительными людьми” [1, с. 342–343]. А быть именно “положительным человеком”, или “здоровой натурой”, согласно В.Г. Белинскому, — значит идти в ногу со временем. Много позже в письме к С.А. Никитенко от 21 августа (2 сентября) 1866 года Гончаров и сам, хотя и с сожалением, признавался, что в 1840-е годы “отрицательное направление” “до того охватило все общество и литературу (начиная с Белинского и Гоголя)”, что и он тоже “поддался” ему [2, с. 319].

В критике и в исследовательской практике в дальнейшем справедливо возникали иные трактовки “Обыкновенной истории”. Знаменитое “фламандство” Гончарова, сформулированное А.В. Дружининым еще в середине 1850-х годов, окрасило и отношение к первому роману писателя [3, с. 125]. “Я намерен смотреть на русскую жизнь, — как бы за автора говорит А.В. Дружинин, — с той самой точки зрения, против которой неутомимо свирепствовали все любители отрицания. Я люблю прозу жизни оттого, что способен видеть в ней нечто большее, чем проза. Мне милы тихие картины чисто русской природы, и мои сочинения покажут, почему эти картины мне милы. Я понимаю поэзию жизни в простых, обыденных событиях, в нехитрых привычках, в страстях самых немногосложных. Меня пленяет то, что до сих пор не пленяло почти ни одного русского художника: я умею говорить от сердца о скромных интересах петербургского чиновника, о философии положительного мудреца Петра Ивановича, о первой любви никому не известной барышни, о крошечных драмах, совершающихся где-нибудь за чайным столом, или в палисаднике петербургской дачи, или за дверью такого-то департамента, или на темной лестнице высокого каменного дома” [3, с. 128]. Здесь уже не столь противопоставлены “положительная мудрость” Петра Ивановича и “первая любовь” восторженной барышни (или юноши — отчего не Александра

Адуева?). Да и “самый прозаический народ”, “затишье маленьких русских городков” — все оказывается равно значимо, по мнению критика, для содержательной поэтики Гончарова.

Эта линия в восприятии “Обыкновенной истории” в частности и творчества писателя в целом до сих пор актуальна. В академическом издании сочинений Гончарова критика А.В. Дружинина небезосновательно в этой связи названа “конгениальной” [4, т. 1, с. 741]. Однако не все современные исследователи разделяют эту точку зрения. Некоторые полагают, что видеть в прозе Гончарова исключительно фламандскую живописность значит умалять те открытия, которые сделал писатель. Так, в обзорной статье, приуроченной к 200-летию юбилею Гончарова, В.А. Недзвецкий сожалел о том, что «многолетняя заниженность творческих заслуг Гончарова поддерживалась и устойчивым, но совершенно неверным определением самой природы его художественного дарования <...> как всего лишь “несравненно-го мастера жанра”, “художника фламандской школы»» [5, с. 12], которая транслировалась после А.В. Дружинина и В.П. Боткина в работах С.А. Венгерова и Ю.И. Айхенвальда. “Сам Гончаров, — справедливо полагает В.А. Недзвецкий, — решительно протестовал против этого взгляда на его творчество” [5, с. 12]. Исследователь приводит в этой связи в пример слова писателя из его “автокритической” статьи “Лучше поздно, чем никогда”: “Иные не находили или не хотели находить в моих образах и картинах ничего, кроме более или менее живо нарисованных портретов, пейзажей, может быть, живых копий с нравов — и только. <...> Напрасно я ждал, что кто-нибудь и кроме меня прочтет между строками и, полюбив образы, свяжет их в одно целое и увидит, что именно говорит это целое? Но этого не было” [2, с. 102].

Научный дискурс вокруг “Обыкновенной истории” в настоящее время уже не исчерпывается сугубо социальными акцентами, которые в романе, безусловно, есть, или гончаровским “фламандством”. Его определяют сейчас, пожалуй, две ведущие концепции. Первая связана с разработкой вопросов о центральной роли “диалогического конфликта” в романах середины XIX века, вторая — с исследованиями европейской модели “романа воспитания” (Bildungsroman) на русской почве, в которых Гончарову отводится важная роль.

Обе концепции справедливы и убедительны в своей системе координат.

Рассматривая “Обыкновенную историю” как одно из ярчайших явлений “натуральной школы”, Ю.В. Манн подчеркивает в романе Гончарова его диалогическую структуру, в основе которой лежит спор двух противоположных, равноправных и равно несовершенных точек зрения, или правд. В этом споре, по мнению ученого, представитель каждой из сторон оказывается “и прав и неправ” [6, с. 249], а сама книга Гончарова представляет собой “диалогическое” приближение к истине, достижение которой в полной мере невозможно. Подобный диалог-спор двух линий тем не менее чреват своего рода синтезом: новым качеством жизни — не ее повторением, но именно трансформацией старого в известных значениях нового, “пока цикл не окончится, т.е. судьба племянника не совпадет — на новом уровне — с судьбой дяди...” [6, с. 250]. Более определенно о возможности синтеза двух противоречивых, или крайних, позиций — “архаично-героической” (Александр) и “позитивистской” (Петр Иванович) — писал В.А. Недзвецкий, полагавший, что Гончаров в романе предложил читателю увидеть некую “норму” современной жизни» [6, с. 33]. Эта “норма” — возможность “гармонично сочетать” “служение своему времени с верностью заветным человеческим потребностям и упованиям” [6, с. 34] — представлена в письмах Александра Адуева к тетушке и дядюшке, когда «прозревший Александр намерен из прежнего “сумасброда... мечтателя... разочарованного... провинциала” сделаться “просто человеком, каких в Петербурге много”, не забывая при этом свои лучшие “юношеские мечты, но руководствуясь ими”, желая “трудиться, одухотворяя свои насущные обязанности “свыше предназначенной” человеку целью”» [6, с. 34]. Однако такой синтез противоположных жизненных правд оказался, по мнению исследователя, неубедительным прежде всего для самого писателя, поэтому роман и завершился «не картиной должного *нормального существования*, но горько-ироничным “эпилогом”» [6, с. 35. Курсив автора. — И.Б.]

Мимо внимания исследователей, конечно, не прошли указания, присутствующие в самой ткани текста, на его принадлежность к западноевропейской модели романа об “утраченных иллюзиях”. Явная отсылка такого рода содержится в письме Александра

из Грачей к тетке, в котором он сообщает о том, что “много надежд улетело, много миновалось желаний”, и о том, что “иллюзии утрачены” [4, т. 1, с. 449]. Будучи вариантом Bildungsroman, роман карьеры сообщает о метаморфозах, которые происходят с молодым героем, приехавшим покорять столицу. Однако, по справедливому размышлению М.В. Отрадина, у Бальзака в “Утраченных иллюзиях” подробно рассказывается о том, как Париж “ломает” героя, а вот в “Обыкновенной истории” “рассказ о том, как петербургская жизнь сломала Александра Адуева”, Гончаров “опустил” и там в принципе “социальные мотивировки обозначены гораздо слабее, чем у Бальзака” [8, с. 37]. Представления об “Обыкновенной истории” как о романе бальзаковского типа отчасти могут примирить разные литературно-критические стратегии его прочтения, поскольку романтизм Александра, хотя и с определенной долей условности, на что указывает М.В. Отрадин, может выполнять “функцию молодости” и по мере странствия героя по жизни сменяться соответствующим более зрелому возрасту прагматизмом. Однако «к этому возрастному романтизму в “Обыкновенной истории” не сводится смысл и масштаб конфликта» [8, с. 34]. Да и само движение от возраста к возрасту, которое подразумевается в Bildungsroman, хотя и декларируется Гончаровым (а вернее, одним из его персонажей в следующем романе “Обломов”¹) — “нормальное назначение человека — прожить четыре времени года, то есть четыре возраста, без скачков и донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно” [4, т. 4, с. 163], — в художественной реальности “Обыкновенной истории” не кажется столь однозначным. Так, даже Е.А. Краснощекова, убежденная в том, что Гончаров в “сверхзамысле” своих романов следовал “избранному жанру (роману воспитания)” [9, с. 67, 72] — и действительно, в “Обыкновенной истории” есть едва ли не все необходимые элементы такой романной матрицы (от наличия Ментора-дядюшки до последовательно прописанных этапов “школы жизни”), — тем не менее признает, что писатель отходит по крайней мере

¹ Едва ли все же возможно полное согласие автора и героя, как полагает Е.А. Краснощекова, которая считает, что “Гончаров вручает Штольцу среди собственных итоговых размышлений и те, что взяты в качестве эпиграфа к этой книге”, а именно слова о четырех возрастах [9, с. 13].

от гётевской его разновидности. «Эмоциональное “обесцвечивание” младшего Адуева, — пишет Е.А. Краснощекова, — в итоге прохождения “школы жизни”, казалось бы, знаменует отход Гончарова от линии классического романа воспитания, где уроки образования ума и “воспитания чувств” приносят, в основном, позитивные плоды, а отрезвление больше проходит под знаком приобретений, чем потерь» [9, с. 113]. Как признает исследовательница, в реализации модели романа воспитания автора “Обыкновенной истории” все время ожидают “препятствия” — они обусловлены, по ее мнению, “уступками социально-критическому пафосу 40-х годов” [9, с. 115].

Несмотря на то что в западной русистике принадлежность “Обыкновенной истории” к *Bildungsroman* — весьма распространенная точка зрения (см.: [10]; [11]), зазор между западноевропейским его изводом и русским романом, действительно много черпающим для себя в этой романной модели (см.: [12]), все же ощущается, причем уже на уровне первичной читательской реакции. Здесь можно обратиться к впечатлениям, которыми делился в своих эссе о русских писателях С. Цвейг, подчеркивающий, что если “герои Бальзака, как и французского романа вообще <...> овладевают жизнью или гибнут под ее колесами”, а “герой немецкого романа, типом которого можно считать хотя бы Вильгельма Мейстера или Зеленого Генриха”, “приобретают действенность и в опыте изучают жизнь”, то герои романа русского (Цвейг имел в виду, правда, персонально Ф.М. Достоевского) “не хотят изучать жизнь, не хотят ее побеждать, они хотят ощущать ее как бы обнаженной и ощущать как экстаз бытия” [13, с. 112, 113].

На первый взгляд, последнее суждение — не о героях “Обыкновенной истории”. Александр Адуев как раз “не гибнет” под “колесами” жизни, но принимает ее такой, какая она есть. Неслучайно сам писатель в автоинтерпретации “Лучше поздно, чем никогда” писал об итогах своего первого романа в подобном ключе: «Адуев кончил, как большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать в службе, писал и в журналах (но уже не стихами) и, пережив эпоху юношеских волнений, достиг положительных благ, как большинство, занял в службе прочное положение и выгодно женился, словом обделал свои дела. В этом и заключается “Обыкновенная история”» [2, с. 111]. И тем не менее

“странный” эпилог романа позволяет в обычных, казалось бы, этапах пути героя Гончарова — от молодости к зрелости, когда “взрывы, страсти, катаклизмы” раннего возраста “неизбежно и надолго сменит повседневная стабильность” [9, с. 117], — усмотреть не столько логику обычного движения по ступеням “возрастов”, сколько предчувствие иного, “нового пути” и движение по ступеням иным.

Что-то в читателе сопротивляется объективной логике превращения юного мечтателя в расчетливого прагматика, потому не так уж несправедливо звучит ирония критика и чуткого читателя Д.И. Писарева по отношению к этому превращению: «“Обыкновенная история” <...> говорит довольно прямо, хотя и очень осторожно: “Эх, молодые люди, протестанты жизни, бросьте вы ваши стремления вдаль, к усовершенствованиям, к лучшему порядку вещей! — все это пустяки, фантазерство! Наденьте вицмундиры, вооружитесь хорошо очиненными перьями, покорностью и терпением, молчите, когда вас не спрашивают, говорите, когда прикажут и что прикажут, скрипите перьями, не спрашивая, о чем и для чего вы пишете, — и тогда, поверьте мне, все будут вами довольны, и вы сами будете довольны всем и всеми”» [14, с. 151]. Прощаясь с персонажами романа Гончарова, читатель невольно ловит себя на мысли, что роман написан не для того, чтобы сказать, что в жизни все безальтернативно повторяется², но что впереди у героя есть нечто пока непроговоренное. Героя ждет не “повседневная стабильность”, но какое-то новое и самое важное испытание. Он не просто приходит к “обыкновенному” итогу, а лишь готовится к “настоящему пути”, который пока еще не найден им, но предчувствуется в самом романе и существует, причем за пределами диалогической соотнесенности двух линий, эксплицированных в дяде и племяннике.

У Гончарова получился роман, действительно очень похожий на роман воспитания, но только похожий и не укладывающийся в полной мере в этот западноевропейский образец. Слишком много отступлений, слишком много в этой связи к нему вопросов. Тут можно вспомнить Л.Н. Толстого, с его парадоксальными утверждениями о том, что “мы, русские, вообще не умеем писать романов в том смысле, в котором понимают этот род сочинений в Европе”

² См. суждение Ю.В. Манна: «Повторяются циклы человеческой жизни, повторяются вечные прения “сторон”, и грустная “обыкновенная история” идет своим чередом...» [15, с. 57].

[16, т. 13, с. 54], и что “история русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного”, если сочинение является хотя бы “немного выходящим из посредственности” [16, т. 16, с. 7].

Сверхзадача гончаровского романа воспитания выходит за пределы последовательного изображения “четырех возрастов”, не сводима она и к развенчанию чего-то иллюзорного и ложного в мире старом, который представляет собой эпоху “младенческую” [4, т. 1, с. 444], или же к утверждению новых возможностей человека, основанных на современных открытиях и прогрессе, в том числе и в науке. В центре “Обыкновенной истории” Гончарова, написанного в середине 1840-х годов, оказывается остро зазвучавшая еще в начале десятилетия в русской литературе, прежде всего в русском романе, проблема “истории души человеческой, хотя бы самой мелкой души” [17, с. 225] — как *пути*, обусловленного внутренним и не всегда осознаваемым расколом, который ведет человека к душевно-духовной катастрофе, но затем к обретению истинной дороги и к спасению. И в этом плане все романы Гончарова посвящены решению именно этой сверхзадачи, которая на первый взгляд как бы утопает в “домашней обстановке, в кругу разнообразных мелочей повседневного, мирно текущего быта, среди вещей уютного родного угла” [18, с. 265] и не столь очевидна. Как справедливо отмечает В.И. Мельник, “масштаб философской мысли” писателя, который сейчас едва ли кто станет недооценивать, обусловлен «коренным <...> вопросом современности: вопросом о сохранении религиозной основы жизни в условиях резкого перелома истории и “выхода из детства” человечества» [19, с. 114].

Осмысление этого “коренного вопроса”, или рефлексия о внутреннем кризисе в “Обыкновенной истории” находится вне нарратива центральных персонажей. У Александра и Петра Ивановича свой язык описания действительности, в котором формулы душевной жизни предстают, скорее, как метафоры — в одном случае бытового романтизма, в другом — иронии над ним. Но в повествовании в целом клубок мотивов и сигналов, связанных с этим “коренным вопросом”, прочно соотнесен с мотивно-образной структурой “сюжета спасения”, который в русском романе XIX века восходил к сюжетным моделям

“Фауста” Гёте и “Божественной Комедии” (см.: [20]), или к “фабуле о возрождении грешника” [21, с. 396–399], которая в мирских текстах, как полагал Р.Г. Назиров, оформилась в “тройственной поэме” Данте.

Гончарову действительно была интересна эта дантовская сюжетная модель. Собственно знакомство с Данте у него имеет давнюю историю, поскольку это произошло еще в университетские годы, не без влияния лекций и публикаций С.П. Шевырёва о Данте, и носило глубинный характер, о чем автору этих строк доводилось писать (см.: [22]; [23]). В самом тексте его романов, в том числе в “Обыкновенной истории”, есть прямые “указания”, или подсказки читателю по поводу дантовского источника. Например, это фамилии героев, на что справедливо обратил внимание В.И. Мельник³. Немало там и общих выражений, так или иначе напоминающих дантовские аллегории: “прямой путь” (“la diritta via”), “темный лес” (“una selva oscura”), значим и возраст обоих центральных героев — около “половины жизни” (“Nel mezzo del cammin di nostra vita”) Петру Ивановичу Адуеву в начале романа, 35 лет Александру в конце и др. Когда двадцатилетний Александр после учебы в университете надумал вновь покинуть Грачи, повествователь так комментировал его выбор: “Перед ним *растлалось множество путей*, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только *прямой путь*; заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы” [4, т. 1, с. 180. Курсив наш. — И.Б.]. Грачи как пространство рая, которое вот-вот Александром будет потеряно (причем важно, что эта потеря неизбежна для современного человека, если он хочет выйти из поры детства), окружены темным лесом: “Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое как зеркало; с другой — темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к *темному лесу*” [4, т. 1, с. 178. Курсив наш. — И.Б.], — в который герою необходимо вступить, поскольку путь в другую, новую жизнь лежит через него. Будучи элементом описательной картины, метафора “темный лес” не в первую очередь ассоциируется с Данте. Однако когда она попадает в систему других художественных

³ “...Адуевы, Обломов и, наконец, Райский? Это своего рода ад, чистилище и рай” [24, с. 32].

метафор романа, ее дантовские истоки становятся более чем очевидны. Как писал С.П. Шевырёв о дантовской аллегории “темного леса”, которую, по небезосновательному мнению ученого, открыл совсем не Данте (подобная формула встречалась, например, у Бонавентуры⁴), она означает следующее: “Темный лес есть жизнь, а по иным (мнениям. — И.Б.) Флоренция” [25, ч. 2, № 5, с. 343], погрязшая в грехах.

В “Обыкновенной истории” “темным лесом” оказывается Петербург. В реалистической стилистике первого романа Гончарова, написанного в период расцвета “натуральной школы”, это город вполне узнаваемый в социальном и культурном плане. Но в аллегорическом смысле он является воплощением современной жизни, которая и не хороша, и не плоха — она данность, со всеми ее обретениями и утратами. Обретается — прежде всего взросление⁵, в Петербурге, как будет сказано в “Обрыве”, где аллегорические смыслы столицы будут еще более подчеркнуты, “живут взрослые люди” [4, т. 7, с. 41], которые способны сформулировать цели, задачи своей жизни, они трудятся и полагаются на свои труды, однако утраты, или, вернее, всего одна утрата — столь существенна, что она ставит под сомнения преимущества всех обретений. Эту утрату определил в “Обыкновенной истории” Александр Адуев — это был момент, когда он не только остро почувствовал, но именно осознанно сформулировал суть того внутреннего раскола, который переживает современный человек, неизбежно оказывающийся между старым и новым, между “детством человечества” и “взрослой жизнью”:

Мало-помалу, при виде знакомых предметов, в душе Александра пробуждались воспоминания. Он мысленно пробежал свое детство и юношество

⁴ С.П. Шевырев приводит названия средневековых аллегорий “Бонавентуры Францисканца”: Зеркало души, Соловей страсти, Лес жизни и др.: См.: [25, ч. 3, № 8, с. 349].

⁵ Вектор взросления может быть, безусловно, рассмотрен как выражение логики романа воспитания, как предлагает Е.А. Красношечкова, однако он соответствует больше естественным метаморфозам роста, которые предполагают, что ребенок вырастает во взрослого человека — и это нормально, но чему всегда сопутствуют поколенческие различия. «В логике “Обыкновенной истории” с его подчинением “места” “времени” герои даны в начале романа как представители разных эпох русской истории (Александр — допетровской (детской), Петр — европейской (взрослой)). Недаром “Обыкновенная история” прочитывалась и как книга о двух поколениях, о борьбе отцов и детей, предсказавшая, по-своему, роман Тургенева» [9, с. 67].

до поездки в Петербург; вспомнил, как, будучи ребенком, он повторял за матерью молитвы, как она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым; как она, указывая ему на звезды, говорила, что это очи Божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей; как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых, дел, и как радуются, когда добрые дела превышают злые. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион... Александр вздохнул, очнувшись от этих воспоминаний.

“Ах! если б я мог еще верить в это! — думал он. — Младенческие верования утрачены, а что я узнал нового, верного?.. ничего: я нашел сомнения, толки, теории... и от истины еще дальше прежнего... К чему этот раскол, это умничанье?.. Боже!.. когда теплота веры не греет сердца, разве можно быть счастливым! Счастливее ли я?” [4, т. 1, с. 444].

Александр уже не может верить так, как его отцы и деды. Но он понимает, что без веры ему плохо, что он не стал счастливее, что из его жизни ушло что-то важное и “верное”, когда ему открылись — в результате взросления — глаза на это наивное, казалось бы, движение души и сердца, без которого человек не может оставаться человеком. Однако выход человечества из эпохи “младенческой веры” неизбежен, поскольку неизбежна смена возрастов, в том числе и как исторических этапов. Сам Гончаров настаивал на том, что три его романа связаны “теснейшей органической связью” и что они представляют собой “одно огромное здание, одно зеркало, где в миниатюре отразились три эпохи — старой жизни, сна и пробуждения” [26, с. 162], что свидетельствует о телеологической сверхзадаче⁶ автора, в которой первой

⁶ Нельзя согласиться с утверждениями комментаторов в академическом издании Гончарова, которые полагают, что “ретроспективный взгляд” писателя на свои сочинения, представленный в статье “Лучше поздно, чем никогда” и в неопубликованных набросках предисловий и разъяснений к роману “Обрыв” отличается “тенденциозностью” и “схематизмом”: «В рассуждениях Гончарова явно преобладает стремление к обобщению и выпрямлению линий художественного развития. Творческий процесс рационализируется, индивидуальное приносится в жертву общему, многообразию жизни подменяется схемой поступательного развития от одного “момента” к другому. Натяжки авторской ретроспекции очевидны...» [4, т. 1, с. 708, 709]. Общее не исключает частного, к тому же авторская самоинтерпретация как раз призвана была высветить в романах Гончарова их духовно-антропоцентрический смысл, который может полностью открыться именно в соотносительности всех текстов, на чем и настаивал автор. А что такие вещи нельзя навязать сверху или спустя какую-то временную дистанцию, в том числе авторской интерпретацией, свидетельствуют особый потенциал художественного текста, смыслы которого разворачиваются во времени, однако потенциально всегда присущи этому тексту.

эпохе, или “обыкновенной истории” отводилась особая роль.

Исторически — это “старая жизнь”, пора детства, духовно — собственно “обыкновенная история”, “так по большей части случающаяся, как написано” [2, с. 194], это время, когда происходит утрата “младенческой веры”, но другой, немладенческой, не вырабатывается. В.Н. Ильин справедливо назвал первый роман Гончарова “повестью об убийении человеческой души через духоугашение”, историей о “духовном осатанении человека” [27, с. 325, 327]. Причем происходят подобные трансформации почти со всеми героями романа — с кем-то в прошлом, а с кем-то в настоящем. В.Н. Ильин считал, что вся русская литература так или иначе была захвачена этим процессом — небезосновательно, поскольку “Обыкновенная история” оказалась одним из первых романских текстов, на который потом многие равнялись, — она свидетельствовала об умирании души в современном человеке, а также об умалении его творческих возможностей, которые определяются душевно-духовной жизнью. “Через духоугашение” шла “аннигиляция души и ее способности к творчеству, любви, страсти” [27, с. 324], — пишет критик.

В своем первом романе Гончаров рассказал своим читателям не только о том, как умирает душа, но и указал на то, что человеку делать, чтобы обрести надежду на ее спасение. Этот, можно сказать, оптимистический вектор более сказывается, конечно, в двух следующих романах — в “Обломове” (эпоха Сна, в номинации писателя, как и у Данте “Чистилище” — это “сон”, в котором показаны “муки, растворенные надеждою” [25, ч. 3, № 8, с. 345]) и в “Обрыве” (эпоха Пробуждения, по определению Гончарова, что согласуется с изображением “пробужденного от смерти <...> человечества” [25, ч. 3, № 8, с. 340] в дантовском “Рае”). Но и в “Обыкновенной истории” такие интонации есть — они прежде всего связаны с осмыслением причин разлада в человеке, когда развитие прогресса ведет его вверх, но одновременно душевная жизнь нисходит по ступеням, и с попытками усмотреть новые начала для “взросло-го” религиозного чувства.

“Обыкновенная история” — книга, в которой рассказывается в сущности о трагедии человечества, но повествование ведется так спокойно, что читателю совсем не страшно. Обо всем повествуется с иронией и *sine ira*, как

любил повторять Гончаров, в деталях описывается то, как обстоятельства и современный уклад создают новое пространство, в котором нет места для жизни души. А человек этого не замечает, ну или почти не замечает. Лишь фиксируются трансформации — во внешности, в речи и реакциях героя. Причем все в нем постепенно становятся менее “смешным” и более “взрослым”. И читатель, вслед за В.Г. Белинским, почти соглашается с тем, что так правильно и так нужно жить — положительной жизнью. А между тем катастрофа остается незамеченной.

Стоит вновь обратиться к размышлениям В.Н. Ильина, который полагал, что главное в “Обыкновенной истории” — «новая постановка вопроса о появлении и странной, несуществующей, небытийственной “жизни” тех самых “мертвых душ”, которыми со всею мощию своего гения впервые Гоголь поставил страшный вопрос, который можно сформулировать так: *когда и как мы, живые, умираем, и в чем заключается ложная призрачная жизнь мертвых душ и живых мертвецов, наполняющих города, деревни, общественные места, литературу, науку, искусство, политику?*» [28, с. 317. Курсив В.Н. Ильина. — *И.Б.*]

Но “Обыкновенная история” — не приговор современному человеку, поскольку вслед за его падением подразумевается “восстановление”, о чем, к слову, как о важнейшей задаче литературы XIX века писал в начале 1860-х годов Ф.М. Достоевский, ссылаясь на удачный опыт, который на исходе Средних веков предпринял Данте в “Божественной Комедии” [29, с. 28]. Такой путь и Гончаров предполагал для своих романских героев. Первым был — *Адуев*. Но чтобы ему выбраться из *ада*, нужно было сначала туда спуститься.

Отъезд Александра из рая Грачей — далеко не случайный поступок. Ситуация ухода возникла не вдруг, но была как бы предопределена годами обучения героя в университете (с большой долей вероятности, это был Московский университет⁷), о которых говорится

⁷ Точно в романе университет не назван, но по косвенным признакам, обусловленным автобиографическими элементами, все говорит о Москве (см.: [30]). Е.А. Краснощекова полагает, что «суть гончаровских характеров была прямо связана с московско-петербургским контрастом. Действительно, юный Александр подходит под определение “москвич”: он тяготеет службой, приветлив, откровенен, наивен...» [9, с. 66]. Речь идет, конечно, не об обучении, но о самом московском духе.

очень мало. Но не в последнюю очередь именно знания обусловили стремление героя к “неизвестному, полному увлекательной и таинственной прелести” [4, т. 1, с. 179]. Александр “прилежно и многому учился”, “в аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков”, отсюда и его желание принести “пользу отечеству”, и мысли о “громких подвигах” и даже о “славе писателя”. Не исключались и “колоссальные страсти”. Словом, ему неслучайно “тесен стал домашний мир” [4, т. 1, с. 180, 179], потому что он действительно оказывался узким для обладателя знаний по “дюжине наук”, и на тот момент не было для него другой дороги, как через “темный лес”, т.е. через Петербург, который фигурирует в романе как средоточие современной жизни. Ступивший в нее должен овладеть новыми правилами, пройти “школу жизни”. Для Александра такой школой оказывается практическая мудрость его дяди.

Петр Иванович точно определяет устройство современной жизни, или “темного леса”: “Здесь все эти понятия (из прежнего уклада. — *И.Б.*) надо перевернуть вверх дном” [4, т. 1, с. 209. Курсив наш. — *И.Б.*]. Последняя фраза — не просто фигура речи, но вполне четкое определение существа пространства нового мира, который представляет дядя. “Вверх дном” есть своего рода напоминание об адовой воронке, в которой тоже все перевернуто таким образом, что схождение вниз, как показывает случай Данте, оказывается одновременно движением вверх.

Жизненные принципы этого перевернутого пространства таковы: “смотри, читай, учись да делай, что заставят” [4, т. 1, с. 221], “обращай внимание на то, что у тебя перед глазами, а не заносись вон куда” [4, т. 1, с. 228], живи “с непрерывной поверкой себя и своих занятий” [4, т. 1, с. 249], управляй “чувством <...>, как паром” [4, т. 1, с. 233], умей привести “в ясность все тайны и загадки сердца” [4, т. 1, с. 231] и будь способен к “холодному разложению на простые начала всего, что волнует и потрясает душу человека” [4, т. 1, с. 231]. Кажалось бы, ничего страшного в этих правилах нет — они как раз и нужны для “положительного человека”. И все же последняя “формула”, например, могла звучать вполне зловеще, если бы в контексте общего повествования она не была окрашена иронией, а потому как бы несколько сглажена. Настаиваем именно на ироническом модусе, поскольку со времен

первых прочтений и до современных исследовательских рецепций принято говорить о юморе в “Обыкновенной истории”, однако ирония не так безобидна, как юмор, и может быть сопряжена с трагическим, что мы как раз и наблюдаем у Гончарова.

Сферы нового петербургского пространства для Александра (как и для любого современного человека) — это служба, деловой круг, или завод Петра Ивановича (они устроены одинаково — как машины), светская жизнь (она тоже механистична и окружена “чадом бальной сферы”), литературная деятельность (Александр служит в редакции журнала, причем поначалу довольно успешно, однако его служба не связана с творчеством). В сущности, это те как бы адовые круги современного “темного леса” (а ведь ад у Данте как раз и отражает пороки настоящей жизни, хотя и перешедшие в вечность), которые в первой части романа “Обломов” будут представлены в аллегорических фигурах визитеров главного героя — Волкова, Судьбинского, безымянного Иванова-Васильева-Андреева-Алексеева (его фамилии не может запомнить Обломов), Тарантьева и Пенкина [23]. Последний как представитель литературной партии, которая пишет о человеке без любви к нему и, в сущности, позабыв про него, — яркий пример литераторства бестворческого и безлюбивого. Но собственно “история души” Александра, ее постепенного угасания разворачивается не столько в схождении по этим кругам современной жизни, в овладении их правилами, сколько в процессе постепенного умаления в нем способности любить.

Процесс “холодного разложения на простые начала всего, что волнует и потрясает душу человека”, который происходит с Александром, показан в разных любовных историях — с Софией, Наденькой Любецкой, Юлией Тафавой, Лизой-Антигоной и наконец с его будущей женой, о которой читатель так ничего и не узнает, кроме того, что она “хорошенькая” и “богатая” [4, т. 1, с. 463]. Отдельную линию составляют отношения Александра с теткой Лизаветой Александровной, которые, с одной стороны — целомудренны, с другой — не лишены эротической теплоты. И подобное соединение чувственного, собственно человеческого с отдаленным благоговением Александра перед “высшей красотой” [4, т. 1, с. 456] тетушки окрашивало эту линию в романе Гончарова в дантовские краски, поскольку, как

писал С.П. Шевырѐв, Данте олицетворял Богословие, “науку своего времени <...> в образе ему столь любезном”, в образе Беатриче. Такая ситуация, такой “паганизм”, как уточнял С.П. Шевырѐв, “в Италии только возможен и понятен” в силу того, что “объясняется нам апофеозом женщины в Италии, идеей Мадонны, любовью Петрарки к Лауре, Тасса к Элеоноре”, “объясняется явлениями из истории другого искусства: живописцы давали черты своих возлюбленных лицам Мадонн, Святых мучениц, даже отвлеченных Добродетелей” [25, ч. 3, № 8, с. 353]. Воздействие той Мудрости Небесной (в терминологии С.П. Шевырѐва по отношению к Беатриче), что исходит от Лизаветы Александровны, спасительно для Александра, хотя оно не в состоянии предотвратить те трансформации, которые происходят в его душе. Да, Александр перестает писать плохие стихи и прозу, но одновременно ведь он отказывается от творчества, с чем тетушка согласиться не может. Не принимает она и умаление живого чувства в отношениях между Александром и его возлюбленными, хотя сама становится экспериментальным звеном в “школе мужа”, которой старается мудро противостоять. В Лизавете Александровне и в самой постепенно замирает жизнь, как видно из эпилога, но с ней остается ее “концентрическая”, или сосредоточенная душа [4, т. 1, с. 456] — живая душа, при почти мертвом теле: Гончаров попытку Петра Ивановича оживить супругу сравнивает с “действием гальванизма на труп” [4, т. 1, с. 460]. Да и в целом она “не желает, чтобы ее спасали”, и в этом — “предельный ужас” [27, с. 334].

Между тем Лизавета Александровна боролась за то, чтобы дух творчества и любви не покидал Александра. Но “процесс холодного разложения” был необратим. Сожжение рукописей Александра символично.

Он подвинул тетрадь в глубину камина, прямо на уголья. Александр остановился в нерешимости. Тетрадь была толста и не вдруг поддавалась действию огня. Из-под нее сначала повалил густой дым; пламя изредка вырвется снизу, лизнет ее по боку, оставит черное пятно и опять спрячется. Еще можно было спасти. Александр уж протянул руку, но в ту же секунду пламя озарило и кресла, и лицо Петра Ивановича, и стол; вся тетрадь вспыхнула и через минуту потухла, оставив по себе кучу черного пепла, по которому местами пробегали огненные змейки. Александр бросил щипцы.

- Всё кончено! — сказал он.
- Кончено! — повторил Петр Иванович.
- Ух! — промолвил Александр, — я свободен!

— Уж это в другой раз я помогаю тебе очищать квартиру, — сказал Петр Иванович, — надеюсь, что на этот раз...

— Невозвратно, дядюшка.

— Аминь! — примолвил дядя, положив ему руки на плеча [4, т. 1, с. 344–345].

Это сцена “невозвратного” сожжения тетради есть окончательное “убиение” творческого начала — последняя реплика дяди в данном случае примечательна. Да и языки пламени напоминают о соответствующих атрибутах ада.

“Теория любви”, поданная Александру дядей, научила его “любя, <...> анализировать любовь” так, как “ученик анатомирует тело под руководством профессора и вместо красоты форм видит только мускулы, нервы...” [4, т. 1, с. 419]. Неслучайно Александр, как будто прибегая к своему неистовому языку, скажет, что Петр Иванович “адски холодно рассуждает о любви”, а дядя парирует — с иронией: “Адски холодно — это ново! в аду, говорят, жарко” [4, т. 1, с. 242]. Но на самом деле это не вполне только знак романтической экзальтации племянника, потому что в аду у Данте на самом дне именно холодно. Страшные грешники, Иуда, Каин, там мерзнут. С.П. Шевырѐв объяснял своим студентам, среди которых был и Гончаров: “Бледно-зеленые грешники бьют зубами от стужи; у них отмерзли уши”, они “вечно плачут”, а “глаза их слипаются от замерзших слез, которые вечно приливают и, не имея платка, гнетом оседают на грудь их” [25, ч. 2, № 5, с. 361]. В.Н. Ильин заметил, что «не у Достоевского в подлинном смысле “мертвый дом” и “дно ада”, а здесь, в благоустроенных палатах петербургского сановника» [27, с. 330].

Пережив сожжение тетрадей, “исцеление” от любви, Александр медленно, но верно — а весь процесс занимает 15 лет — “усердно старался умертвить в себе духовное начало, как отшельники стараются об умерщвлении плоти” [4, т. 1, с. 393]. В сущности, это и предлагалось его дядюшкой-Вергилием, или путеводителем по адским пространствам современной жизни, о котором сам Александр поначалу довольно прозорливо писал: “Дух его будто прикован к земле и никогда не возносится до чистого, изолированного от земных дрязгов созерцания явлений духовной природы человека” [4, т. 1, с. 212]. За романтическим языком описания нельзя все же отрицать точной и справедливой оценки. Весь путь в 15 лет для Александра выстроился в череду

разочарований, предательств (Наденьку Любецкую он воспринимал именно как “изменницу”) — предавали его, и он предавал других. “Холодное разложение” жизни приводило Александра к “злобному расположению духа на весь род людской” [4, т. 1, с. 316]. Но защитные механизмы на какое-то время погружали его в “сон души” [4, т. 1, с. 285, 392, 414], и он боролся за нее, как боролся Данте, чтобы остаться одним спасенным среди многих неспасенных. Борьба Александра заключалась в том, что он пожелал отгородиться от жизни (как потом и сделает Обломов). “...Жизнь давно опротивела мне, — признавался он тетке, — и я избрал себе такой быт, где она меньше заметна. Я ничего не хочу, не ишу, кроме покоя, сна души. <...> Я и сплю, оттого и не хожу никуда, и к вам особенно... Я уснул было со всем, а вы будите и ум, и сердце, и толкаете их опять в омут” [4, т. 1, с. 414].

Сопротивлением, или попыткой “выйти из тьмы” можно считать и бегство Александра из Петербурга в Грачи — оно осознается самим героем как возвращение из мертвого царства в жизнь живую. “Прощай, великолепная гробница глубоких, сильных, нежных и теплых движений души, — размышляет он, покидая город. — Я здесь восемь лет стоял лицом к лицу с современною жизнью, но спиною к природе, и она отвернулась от меня: я утратил жизненные силы и состарился в двадцать девять лет” [4, т. 1, с. 425]. Это происходит благодаря действиям Лизаветы Александровны, благодаря музыке, которая оживляет в нем душу. “Я ясно понял, — признается Александр тетке, — что не имею права никого винить в своей тоске. Я сам погубил свою жизнь. Я мечтал о славе, бог знает с чего, и пренебрег своим делом; я испортил свое скромное назначение и теперь не поправлю прошлого: поздно! Я бежал толпы, презирал ее, — а этот немец, с своей глубокой, сильной душой, с поэтической натурой, не отрекается от мира и не бежит от толпы: он гордится ее рукоплесканиями. Он понимает, что он едва заметное кольцо в бесконечной цепи человечества...” [4, т. 1, с. 415].

Но проблема заключается в том, что вернуться назад, в пору “младенческих верований” или же соединить поэзию и прозу жизни просто так выросшему, т.е. современному человеку (и человечеству в целом), уже нельзя. Поэтому Александр только на время испытывает в Грачах ощущение цельности и

гармонии, полагает, что он “вышел из тьмы” и “видит”, что “все прожитое” им “до сих пор было каким-то трудным приготовлением к настоящему пути, мудреную наукою для жизни” [4, т. 1, с. 450]. “Настоящий путь” очевидно был еще не найден им тогда, потому что главное еще было не понято или не услышано, не определены те силы, которые взамен наивной веры обитателей Грачей, Обломовок и Малиновок дадут современному человеку возможность поверить в существование Божие и полюбить жизнь. Этот новый путь (как у Данте — “Vita nova”) лежал через “красоту мира” и через ее явление — в земной женщине, о чем позже, под влиянием Обломова признается сам себе Штольц, — “наблюдая сознательно и бессознательно отражение красоты на воображение, потом переход впечатления в чувство, его симптомы, игру, исход и глядя вокруг себя, подвигаясь в жизнь, он выработал себе убеждение, что любовь, с силою архимедова рычага, движет миром” [4, т. 4, с. 448], — и затем определенно будет знать Райский — “красота <...> прежде всего будит в человеке человека” [4, т. 7, с. 357]. В своем Посвящении к роману именно в женщине он увидит проводника к “вечной красоте”: “Женщины! вами вдохновлен этот труд. <...> мы твердо вынесем битвы жизни и пойдем за вами вслед туда, где всё совершенно, где — вечная красота!” [4, т. 7, с. 762–763].

Согласимся с современным исследователем: «Романист надеялся, что тысячелетний перелом истории (изменение религиозного сознания современного человека под влиянием бурного развития науки) будет преодолен той силой, которую заложил в природу человека Творец: это стремление к красоте. Свое творчество он посвятил изображению восхождения человека от “ада” безверия и страстей — по ступеням “очеловечивания” — к высшей, духовной, красоте Христа» [19, с. 138].

Итак, “Обыкновенная история” — не ищет третьей стороны в споре старой правды и правды нарождающейся, современной, не ищет их синтеза и тем более не выступает за консервативное прошлое или же за прогрессивное настоящее “положительных людей”. Роман Гончарова рассказывает о неизбежной истории человеческого взросления, которую проживает любой человек, желающий жить с веком наравне, и его путь — такой, или почти такой, какой был пройден Александром (а до него и его дядюшкой), обязательно проходит через

“темный лес”, через моменты сомнения и недоверия к старым представлениям, в том числе о религиозных тайнах. Конечно, бывает и так, что такие сомнения обходят человека стороной, но тогда нужно и оставаться в Грачах, не выезжая в большой мир. Гончаров не против и такого, исключительно “старого”, традиционного пути – отсюда и его всепримиряющее “фламандство”, но “взрослые люди” хотят личного религиозного опыта. Они должны, увы, пройти через свой ад – стать Адуевыми (как символично последнее признание дядей в Александре “своей крови”) – и одновременно не потерять надежды на спасение, которая видится через “красоту мира в явлении женщины” [31, с. 151]. Но об этом полнее и более целенаправленно рассказывают два других романа писателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 10. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. 486 с.
2. *Гончаров И.А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.: Художественная литература, 1980. 560 с.
3. *Дружинин А.В.* Прекрасное и вечное. М.: Современник, 1980. 545 с.
4. *Гончаров И.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. СПб.: Наука, 1997–...
5. *Недзвецкий В.А.* Слово о Гончарове // Гончаров: живая перспектива прозы. Науч. статьи о творчестве И.А. Гончарова. *Bibliotheca Slavica Savariensis*. 2012. Т. XIII. С. 10–22.
6. *Манн Ю.В.* Философия и поэтика “натуральной школы” // Проблемы типологии русского реализма. М.: Наука, 1969. С. 241–307.
7. *Недзвецкий В.А.* И.А. Гончаров – романист и художник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. 175 с.
8. *Отрадин М.В.* “На пороге как бы двойного бытия...”: О творчестве И.А. Гончарова и его современников. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2012. 328 с.
9. *Краснощечкова Е.А.* И.А. Гончаров: мир творчества. СПб.: Пушкинский фонд, 1997. 496 с.
10. *Молнар А.* Поэзия прозы в творчестве Гончарова. Ульяновск: Изд-во “Корпорация технологий продвижения”, 2012. 448 с.
11. *Diment G.* The Autobiographical Novel of Co-Consciousness. Goncharov, Woolf and Joyce. Gainesville, Florida, 1994. 220 p.
12. *Краснощечкова Е.А.* Роман воспитания – *Bildungsroman* – на русской почве: Карамзин. Пушкин. Гончаров. Толстой. Достоевский. СПб.: Пушкинский фонд, 2008. 480 с.
13. *Цвейг С.* Статьи. Эссе. “Вчерашний мир. Воспоминания европейца”. М.: Радуга, 1987, 448 с.
14. *Писарев Д.И.* Литературная критика: В 3 т. Т. 1. Л.: Художественная литература, 1981. 384 с.
15. *Манн Ю.В.* Диалектика художественного образа. М.: Советский писатель, 1987. 320 с.
16. *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М.: Госизд-во худож. лит., 1928–1958.
17. *Лермонтов М.Ю.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. Л.: Наука, 1981. 591 с.
18. *Айхенвальд Ю.И.* Силуэты русских писателей. Вып. 1. М.: Научное слово, 371 с.
19. *Мельник В.И.* Логика творчества И.А. Гончарова: к постановке проблемы // Два века русской классики. 2019. Т. 1. № 2. С. 110–143.
20. *Беляева И.А.* Сюжет спасения в русском классическом романе // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2016. № 6. С. 44–52.
21. *Назирова Р.Г.* О мифологии и литературе, или Преодоление смерти. Статьи и исследования разных лет. Уфа, Уфимский полиграфкомбинат, 2010. 408 с.
22. *Беляева И.А.* “Странные сближения”: Гончаров и Данте // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2007. Т. 66. № 2. С. 23–38.
23. *Беляева И.А.* И.А. Гончаров – романист: дантовские параллели. М.: МГПУ, 2016. 214 с.
24. *Мельник В.И.* И.А. Гончаров: Духовные и литературные истоки. М.: Изд-во МГУП, 2002. 282 с.
25. *Шевырёв С.П.* Дант и его век: Исследование о Божественной Комедии // Ученые записки Императорского Московского университета. 1833. Ч. 2, № 5. С. 307–363, № 6. С. 509–543; 1834. Ч. 3, № 7. С. 118–180, № 8. С. 336–373, № 9. С. 550–575.
26. *Гончаров И.А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.: Госизд-во худож. лит., 1955. 576 с.
27. *Ильин В.Н.* Продолжение “Мертвых душ” у Гончарова // Мастер русского романа: И.А. Гончаров в литературной критике русского зарубежья. М.: Центр книги Рудомино, 2012. С. 322–361.
28. *Ильин В.Н.* “Тихий Мефистофель” (Гончаров как художник и как мыслитель) Этюды по философии русской литературы // Мастер русского романа И.А. Гончаров в литературной критике русского зарубежья. М.: Центр книги Рудомино, 2012. С. 309–317.

29. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 20. Л.: Наука, 1980. 432 с.
30. Беляева И.А. Москва в жизни и в творчестве И.А. Гончарова: на пути от провинции к столице // Москва и “московский текст”. Москва в судьбе и творчестве русских писателей. Вып. 7. М.: МГПУ, 2013. С. 4–14.
31. Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М.: Языки славянских культур, 2007. 656 с.
- Goncharov. Tolstoj. Dostoevskij. [A Bildungsroman on the Russian Soil: Karamzin. Pushkin. Goncharov. Tolstoy. Dostoevsky]. St. Petersburg, 2008. 480 p. (In Russ.)
13. Zweig, S. *Stati. Esse. “Vcherashnij mir. Vospominaniya evropejca”*. [Articles. Essay. “Yesterday’s World. Memoirs of a European”]. Moscow, 1987, 448 p. (In Russ.)
14. Pisarev, D.I. *Literaturnaya kritika: V 3 t. T. 1.* [Literary Critics in 3 Volumes]. Leningrad, 1981. 384 p. (In Russ.)
15. Mann, Yu.V. *Dialektika hudozhestvennogo obraza.* [The Dialectics of the Artistic Image]. Moscow, 1987. 320 p. (In Russ.)
16. Tolstoj, L. N. *Poln. sobr. soch.: V 90 t.* [Complete Works in 90 Volumes]. Moscow, 1928–1958. (In Russ.)
17. Lermontov, M.Yu. *Sobr. soch.: V 4 t. T. 4.* [Complete Works in 4 Volumes] Leningrad, 1981. 591 p. (In Russ.)
18. Eihenvald, Yu.I. *Siluety russkij pisatelej. Vyp. 1.* [Silhouettes of Russian Writers]. Moscow, Nauchnoe slovo Publ. 371 p. (In Russ.)
19. Melnik, V.I. *Logika tvorcestva I.A. Goncharova: k postanovke problemy.* [Logics of Creativity of I.A. Goncharov: On Stating a Problem]. *Dva veka russkoj klassiki.* [Two Centuries of the Russian Classics]. 2019, Vol. 1, No. 2, pp. 110–143. (In Russ.)
20. Belyaeva, I.A. *Syuzhet spaseniya v russkom klassicheskom romane.* [The Plot of Salvation in Russian Classic Novel]. *Filologicheskie nauki. Nauchnye doklady vysshej shkoly.* [Philological Sciences. Scientific Essays of Higher Education]. 2016, No. 6, pp. 44–52. (In Russ.)
21. Nazirov, R.G. *O mifologii i literature, ili Preodolenie smerti. Stati i issledovaniya raznyh let.* [On Mythology and Literature, or Overcoming Death. Articles and Studies of Different Years]. Ufa, 2010. 408 p. (In Russ.)
22. Belyaeva, I.A. *“Strannye sbližheniya”: Goncharov i Dante.* [“Strange Convergence”: Goncharov and Dante]. *Izvestia Rossijskoj akademii nauk. Seria literatury i azyka.* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2007, Vol. 66, No. 2, pp. 23–38. (In Russ.)
23. Belyaeva, I.A. *I.A. Goncharov – romanist: dantovskie paralleli.* [I.A. Goncharov – Novelist: Dante’s Parallels]. Moscow, 2016. 214 p. (In Russ.)
24. Melnik, V.I. *I.A. Goncharov: Duhovnye i literaturnye istoki.* [I.A. Goncharov: spiritual and literary sources]. Moscow, 2002. 282 p. (In Russ.)
25. Shevyrev, S.P. *Dant i ego vek: Issledovanie o Bozhestvennoj Komedii.* [Dant and His Century:

REFERENCES

1. Belinskiy, V.G. *Poln. sobr. soch.: V 13 t. T. 10.* [Complete Works in 13 Volumes]. Moscow, 1956. 486 p. (In Russ.)
2. Goncharov, I.A. *Sobr. soch.: V 8 t. T. 8.* [Works in 8 Volumes]. Moscow, 1980. 560 p. (In Russ.)
3. Druzhinin, A.V. *Prekrasnoe i vechnoe.* [The Beautiful and the Eternal]. Moscow, 1980. 545 p. (In Russ.)
4. Goncharov, I.A. *Poln. sobr. soch. i pisem: V 20 t.* [Complete Works and Letters in 20 Volumes]. St. Petersburg, 1997–... (In Russ.)
5. Nedzveckiy, V.A. *Slovo o Goncharove* [Speech about Goncharov]. *Goncharov: zhivaya perspektiva prozy. Nauch. Stati o tvorcestve I.A. Goncharova.* [Goncharov: a Living Perspective of Prose. Articles about the Work of I.A. Goncharov]. *Bibliotheca Slavica Savariensis.* 2012, Vol. 13, pp. 10–22. (In Russ.)
6. Mann, Yu.V. *Filosofiya i poetika “naturalnoj shkoly”.* [Philosophy and Poetics of “The Natural School”]. *Problemy tipologii russkogo realizma.* [Problems of Typology of Russian Realism]. Moscow, 1969, pp. 241–307. (In Russ.)
7. Nedzveckiy, V.A. *I.A. Goncharov – romanist i hudozhnik.* [I.A. Goncharov – A Novelist and an Artist]. Moscow, 1992. 175 p. (In Russ.)
8. Otradin, M.V. *“Na poroge kak by dvojnogo bytiya...”:* *O tvorcestve I.A. Goncharova i ego sovremennikov.* [“On the Threshold of a Kind of Double Being ...”: About I.A. Goncharov and His Contemporaries]. St. Petersburg, 2012. 328 p. (In Russ.)
9. Krasnoshchekova, E.A. *I.A. Goncharov: Mir tvorcestva.* [I.A. Goncharov: The World of Creativity]. St. Petersburg, 1997. 496 p. (In Russ.)
10. Molnar, A. *Poeziya prozy v tvorcestve Goncharova.* [A Poetry of Prose in the Works of Goncharov]. Ulyanovsk, 2012. 448 p. (In Russ.)
11. Diment, G. *The Autobiographical Novel of Co-Consciousness. Goncharov, Woolf and Joyce.* Gainesville, Florida, 1994. 220 p. (In Engl.)
12. Krasnoshchekova, E.A. *Roman vospitaniya – Bildunsroman – na russkoj pochve: Karamzin. Pushkin.*

- A Study on the Divine Comedy]. *Uchenye zapiski Imperatorskogo Moskovskogo universiteta*. [Scholarly Notes of the Imperial Moscow University]. 1833, Ch. 2, No. 5, pp. 307–363; No. 6, pp. 509–543; 1834, Ch. 3, No. 7, pp. 118–180; No. 8, pp. 336–373; No. 9, pp. 550–575. (In Russ.)
26. Goncharov, I.A. *Sobr. soch.: V 8 t. T. 8*. [Works in 8 Volumes]. Moscow, 1955. 576 p. (In Russ.)
27. Iljin, V.N. *Prodolzhenie “Mertyyh dush” u Goncharova*. [Continuation of the “Dead Souls” by Goncharov]. *Master russkogo romana: I.A. Goncharov v literaturnoj kritike russkogo zarubezhya*. [A Master of the Russian Novel: I.A. Goncharov in Literary Criticism of the Russian Abroad]. Moscow, 2012, pp. 322–361. (In Russ.)
28. Iljin, V.N. “*Tihij Mefistofel*” (*Goncharov kak hudozhnik i kak myslitel*) *Etyudy po filosofii russkoj literatury*. [“A Quiet Mephistopheles” (Goncharov as an Artist and as a Thinker) Studies on the Philosophy of Russian Literature]. *Master russkogo romana: I.A. Goncharov v literaturnoj kritike russkogo zarubezhya*. [Master of the Russian Novel: I.A. Goncharov in Literary Criticism of the Russian Abroad]. Moscow, 2012, pp. 309–317. (In Russ.)
29. Dostoevskiy, F.M. *Poln. sobr. soch.: V 30 t. T. 20*. [Complete Works in 30 Volumes]. Leningrad, 1980. 432 p. (In Russ.)
30. Belyaeva, I.A. *Moskva v zhizni i v tvorchestve I.A. Goncharova: na puti ot provincii k stolice*. [Moscow in the Life and in the Work of I.A. Goncharov: on the Way from the Province to the Capital]. *Moskva i “moskovskij tekst”. Moskva v sudbe i tvorchestve russkih pisatelej. Vyp. 7*. [Moscow and the “Moscow text”. Moscow in the Fate and Work of Russian Writers. Vol. 7]. Moscow, 2013, pp. 4–14. (In Russ.)
31. Bocharov, S.G. *Filologicheskie syuzhety* [Philological Plots]. Moscow, 2007. 656 p. (In Russ.)